



Александр Зорич

Римская звезда

«Автор»

2004-2006

Зорич А.

Римская звезда / А. Зорич — «Автор», 2004-2006

Нет поэта без тайны. И полная блистательных побед и горьких поражений жизнь древнеримского поэта Овидия Назона подтверждает это правило. Овидий, автор легендарной «Науки любви» и современник великого диктатора Цезаря Августа, был выслан из столицы на далекую окраину Империи, в варварские земли на побережье Черного моря. Однако сарматскому городу Томи не суждено стать последним прибежищем знаменитого поэта – Овидий инкогнито возвращается в Рим, чтобы расследовать загадочные обстоятельства своего изгнания... Эта книга, написанная автором целого ряда современных фантастических бестселлеров Александром Зоричем, расположилась на перекрестке нескольких нескучных жанров. Автор погружает читателя в солнечную атмосферу Золотого века римской истории и расцветивает красками сухие исторические факты, склоняя читателя к соучастию в событиях двухтысячелетием давности.

© Зорич А., 2004-2006

© Автор, 2004-2006

Содержание

Игра в Овидия	5
I	12
II	20
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Игра в Овидия

Писать предисловия к здравствующим коллегам – непростая задача для писателя. Нормальный писатель норовит переписать текст, лезет в соавторы. Но поздно – все сочинено.

Остается превратиться в оппонента – то есть в исходном, римском значении этого слова. Ибо оппонентом был человек, что бежал за колесницей триумфатора, выкрикивая всякую хулу, чтобы достойный муж не слишком возгордился. Вместо хулы можно поговорить о персоналиях, запахе истории, в котором пыль музейных хранилищ сочетается с пылью летней степи, по которой идет конное войско.

Поговорить о месте текста среди прочих текстов автора, и о скрипучем, членистом механизме Империи.

Этот роман двухголового харьковского писателя Зорича – особенное растение среди тесного леса его книг.

Дело в том, что Александр Зорич отметился и в фэнтези, и в том мире фантастики, который живет между звездами. Мир, что по странному стечению обстоятельств называется фэнтези, у него наполнен тщательными описаниями войсковых операций и четкими, как чертежи, рассказами о боевых машинах допороховой эры. Читателю приходится вместе с героями «...следить за изготовлением новой партии упругих блоков для метательных машин и восьми огромных коробчатых рам – сердец новых, улучшенных стрелометов. „Стрелометами“, впрочем, эти машины именовались крайне условно. Эти машины метали не стрелы, а четырехсажженные бревна. Эти снаряды оковывались в первой, конической трети медью и могли пробить любой харренский корабль насквозь – от палубы до днища. Часть бревен исполнялась в пустотелом зажигательном варианте... Упругие блоки шли на смену износившимся, и на расширение неприкосновенных запасов, и на новые орудия, которые изготавливались военными мастерскими уже на местах. Обычно не имело смысла изготавливать в глубине страны метательные машины проверенных конструкций целиком. Столярную и кузнечную работу могли выполнить и в гарнизонах.

Другое дело – сами блоки. Их выделявали по секретным рецептам, со строжайшим сохранением пропорций между телячьими жилами, конским и женским волосом, с многократным вымачиванием в растворах и сухим прокаливанием. И процедура, и рецепт растворов, и то, что изготавливаются растворы на ключевой воде из Черемшиного Брода, все это было тайной».

Так вот если это «фэнтези», то есть и иной мир – звезд и реактивного оружия. В своих звездных войнах Александр Зорич привил к умирающему дереву космической фантастики мир, где интонация ведется от знаменитых межировских стихов, где «Мессершмитты» плеснули бензин в синеву, и не встать под огнем, и без кожуха бьет из квартирного проема «максим» – оттого, что об охлаждении и ресурсе ствола думать поздно и незачем.

Там пламя Вечного огня дрожит на скулах и бой на дальнем рубеже – впрочем, это уже из другого поэта. Там идет нескончаемая межпланетная война, и давно на Земле «от традиционного архитектурного ансамбля Москвы остался лишь сильно поврежденный собор Василия Блаженного». С Землей и Россией будущего воюют зороастрийцы-огнепоклонники с других планет.

До этого времени одна книга не вписывалась в этот ряд – «Карл, герцог».

Есть придуманные термины, которыми обсыпаятся статьи о фантастической литературе. Среди них – альтернативная история и криптоистория. Альтернативная – это когда Наполеон празднует победу и ставит ей памятники в бельгийской деревушке Ватерлоо. Это когда плывет

в Черном море независимый Остров Крым. Это когда немецко-фашистская гадина доползла до Москвы, последние защитники Сталинграда бросаются в Волгу, будто Чапаев в Урал, а за Уралом действует подпольный обком.

Причины ясны, допущение введено, а история пошла по кривой дорожке.

Суть криптоистории другая – фантастическое допущение устранено в последний момент, конница Груши заблудилась в полях, попытка Корнилова взять Петроград пресечена вертолетной атакой, а немцы остановлены усилиями мистиков.

И в «Золотой звезде», которую вы держите в руках, и в романе «Карл, герцог» много от истории. Много исторического, слишком исторического. Здесь – Рим, там история бургундского герцога Карла, прозванного Смелым. Костер Жанны давно потух, Столетняя война кончена, но продолжают двигаться армии, горят города, льется рекой игристое, одновременно нет плотка воды, история течет своим чередом, мешая воду и вино, добавляя крови.

Современному читателю плевать на политическое объединение Франции, на Лигу общественного блага, на логику налогообложения и эволюцию производительных сил. Читатель получил прививку марксистской теории, и теперь ему приятнее смотреть на смешение струй – вина, крови, добавленной к ним спермы. Для него, читателя, орлеанская барышня – это переодетый Элемент V, что вот-вот развалит противника лазерным лучом.

Вот о чем и пишет Зорич – при соблюдении исторической канвы он начинает издеваться над обывателем, воспитанным исторической жвачкой Дрюона. Рядом с герцогом солдаты вдохновенно поют «Long way to Tipperary», на губах короля Людовика катается слово «фуффло», женщины *дают*, а не берегут *цветок своей невинности* ... Жизнь Карла пересказана цинично, даже название книжки пародирует известную могильную плиту. Это язык, которым университетские преподаватели говорят о веренице других герцогов и королей Лысых, Жирных и Отважных в курилке между лекциями. Не «сорвал нежную розу», а «вставил». Ну, в общем, это то же самое.

Но, даже не ввязываясь в битву анахронизмов, Зорич продолжает веселиться. Маленького Карла спасает от шмелиного яда волшебный пес-хранитель. Волшебный пес «после этого убежал, не дождавшись посвящения в рыцари Золотого Руна, ужина, придворной синекуры. Убежал на свою Дикую Охоту, оставив Карла счастливым обладателем волшебных блох».

Карл, вставший против Людовика, оказался у Зорича рожденным волшебством, за ним по следу идут адовы псы, а по кривым дорогам Европы бредет пара глиняных големов, влюбленных друг друга.

Магия перетекает в реальность, в конце все сходится. Мелочи и детали, рассеянные в тексте, сходятся вместе, кривобокие бумажные фигурки вминаются в пазл.

Но история неумолима, если она – *крипто*. Проклятый герцог ткнется носом в лотарингскую землю под Нанси, Пикардию и герцогство утянет Людовик, а графство бургундское оттяпают Габсбурги. История возьмет свое.

Теперь очередь «Золотой звезды» – только вместо игры в медиевистику читателю предлагается игра в античность.

Это – игра в Овидия.

Овидий к большинству читателей, не искушенных филологическими науками, приплыл из шестой главы знаменитого романа в стихах.

В этой шестой главе Пушкин говорит о герое, что тот:

Познал науку страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный

В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

Овидий – постоянный образ для Пушкина времен южной ссылки. Причем сразу в нескольких текстах Пушкина речь идет о ссылке римлянина – но сам Пушкин знает, что география податлива по отношению к мифу: «Мнение, будто (бы) Овидий был сослан в нынешний Акерман, ни на чем не основано. В своих элегиях он ясно (описывает) назначает местом своего пребывания город Томи (Tomі) при самом устье Дуная».

Но для него важно соотнести себя именно с географией, он, вслед Овидию, назначает себе то же место:

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед...

Многажды русские путешественники, а потом и странники с путевкой от профсоюза поклонялись белым камням в разных местах Молдавии, потому что западнее проехать им мешали зеленые фуражки пограничной охраны.

Молдавскому призраку есть давнее объяснение – генерала и историка Ивана Петровича Липранди (1790–1880), который вспоминал в мемуарах, что Пушкин был знаком с трактатом Дмитрия Кантемира «Описание Молдавии», где говорится о сохранившемся в аккерманской степи надгробии с латинской эпитафией Овидию. Эта история перекочевала в книгу Кантемира из сочинений Станислава Сарницкого. Сарницкий же взял ее у Лоренца Мюллера: кругом степь, ветер шевелит ковыль – на дворе 1851 год, и поляк Войновский тычет пальцем в памятник среди высокой травы, указывая Мюллеру на место последнего упокоения поэта.

Однако мифология множится, и главный ее признак – неточность.

«Когда в конце XVIII в. границы России достигли низовьев Днестра, на левом берегу Днестровского лимана в 1793–1795 гг. была построена крепость Овидиополь. В 1795 г. военный инженер Ф.П. Деволан (брабантский дворянин, перешедший на русскую службу в 1787 г.), возводя укрепления Овидиополя, наткнулся на древнюю могилу. Возникло предположение, что это могила Овидия. Судя по зарисовке Деволана, это было захоронение в каменном ящике, сопровождавшееся вещами IV–III вв. до н. э. (то есть не римского, а много более раннего времени). Доктор Метью Гетри послал из Петербурга три доклада о могиле Обществу антиквариев в Лондоне. О сенсационной находке русских солдат на Днестре оповестили мир и парижские газеты.

Рисунки Деволана и комментарии к ним опубликованы в двух книгах – англичанки Марии Гетри и русского академика П.С. Палласа. Гетри верила, что это останки Овидия; Паллас же резонно утверждал, что тот жил и умер значительно западнее».¹

Ссылный поэт – образ, который как нельзя лучше пришелся ко двору русской культуры.

Спустя еще полтора века бывший подневольный житель деревни Норенская, что под Архангельском, напишет:

Коль уж выпало в империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции у моря.

Ссылки Пушкина и Бродского не исчерпывают множественный круг ссылных русских поэтов. Поэзия и Империя постоянно рядом, неразрывны, как два конца магнита.

¹ Формозов А.А. О гробнице Овидия. // Временник Пушкинской комиссии, 1976. АН СССР. Ежегодник пушкинской комиссии – Л.: Наука, 1979. СС. – 131–132.

Овидий в этом романе ближе ко времени Бродского и принципату Хрущева. Он говорит с особой интонацией интеллектуального хулигана.

«Итак, – говорит герой сам себе, – я отправляюсь в пожизненную ссылку к варварам, в город Томы (Северная Фракия).

И моя Фабия со мной не едет. Не едет. Не. Едет.

Потому что перпендикуляр».

Настоящему Овидию было за пятьдесят, когда он отправился на восток. Причины высылки будут ясны ниже.

А Поэт, что живет внутри «Золотой звезды», просто увидел что-то важное, не полагающееся по чину. Будто одна из жен Синей Бороды, открыл не ту дверь. Оказался в ненужный момент в ненужном месте.

Овидий в этом романе продан и предан другом, поэтом Рабирием, что донес о случайно виденном и преступно подсмотренном. Имя это известно в римской истории многожды.

Рабирием звался «сын богатого и ловкого публикана», как пишет о нем Рене Гиро,² что пытался давать деньги в долг одному из Птолемеев, да потом был рад, что унес из Египта ноги, и которого потом защищал на суде Цицерон, Рабирием звали строителя дворца императора Домициана.

Но нас интересует поэт. Именно про него написано Веллеем «Лучшие поэты нашего времени – Вергилий и Рабирий».

Эта фраза удивительно совпадает по интонации со знаменитой резолюцией правителя другого Рима на письме одной женщины – «<Он> был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей <нрзб – подставь любую> эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление».

Но если отставить шутки в сторону, эту фразу, без всякой неразборчивости, оставляет на письме Лили Брик знаменитый правитель Рима Третьего Иосиф Сталин.

Рабирий, что был современником Овидия, неприступно забыт. Он оставил всего несколько стихов – переписанный обрывок-отрывок поэмы о победе Октавиана Августа над Марком Антонием.

Но именно Рабирий был удачлив – он попал в прокрустово ложе новой традиции.

Империи близки, и некоторые времена совпадают. Время принципата Августа – для Рима особенное. Это время, когда из рыхлого тела республики выламывается жесткий стиль империи. Возврат к семейным и гражданским ценностям, особая стоимость символов и добродетелей – все то, с чем не ужился Овидий из Сульмона.

Наш главный герой, вернее, его историческое отражение, появилось на свет в 43 году до н. э., около восемнадцати лет Овидий предпринял путешествие в Малую Азию и Грецию (это было чем-то вроде обязательного упражнения для образованного и возвышенного человека). Затем, свободный от государственной службы, Овидий пускает время через пальцы, переплавляя его в строфы.

И то, как он это делает, противостоит общему течению римской жизни не хуже иного заговорщика. Империя строится на жестких правилах, на возврате суровой добродетели и прямоте линий жизни вкупе с линиями фронтонов.

Овидий диссидент в полном смысле этого слова, но не политический, а эстетический.

Ведь дело не в ассортименте первого периода овидиевской поэзии – «Медикаментах для женского лица», «Средствах от любви» и «Науке любви», которой, бывало, ограничивалось спекулятивное книгоиздание бурного десятилетия девяностых. «Все эти произведения Овидия трактуют не столько о любви, сколько о разных любовных приключениях и предполагают

² Гиро ссылается на Boissier, Ciceron et ses amis, pp. 121–124.

весьма сомнительную нравственность тех, кому даются все эти советы», – писал в свое время Лев Лосев.

Овидий состоит не только из любовного озорства первого периода, но и из «Метаморфоз» второго, а затем из отчаянных «Скорбных песен» («Tristia») и «Писем с Понта» – того времени, когда Овидий крепко, по самую шляпку, вколочен в землю изгнания.

За высокий воздух поэзии, за бархатную вольность Овидий платил ужасом. Он не был стойким героем. Чем-то его жалобы напоминают мне историю про вестового Крапилина, что *заносясь в гибельные выси* – это ремарка Булгакова внутри знаменитой пьесы, кричит генералу: «Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная – Крапилин-вестовой! А ты пропадешь, шакал, пропадешь, оголтелый зверь, в канаве! Вот только подожди здесь на своей табуретке! (*Улыбаясь.*) Да нет, убежишь, убежишь в Константинополь! Храбр ты только женщин вешать да слесарей». И как ни оправдывается генерал, что два раза ранен и ходил с музыкой на Чонгарскую Гать, правда гибельной выси за Крапилиным. Но вдруг Крапилин очнулся, рухнул на колени, забормотал жалостно «Смилуйтесь, Ваше превосходительство! Я был в забытьи!»

И тогда генерал, будто римский цезарь, верно говорит: «Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!»

И мгновенно накидывают на вестового черный мешок и увлекают его вон.

Ссылный в романе Александра Зорича не таков.

Это поэт, которому высокое искусство помогает избежать черного мешка. Овидий, отдав должное просьбам о помиловании, начинает творить свою историю сам.

И она, эта история, начинается в 12 году, в земле, еще не знающей, что она – румынская: «Познакомившись с фракийскими землями ближе, я понял, что мои скорбные элегии – самое большее, чего заслуживают Томи и их окрестности. Сколько в болото ни всматривайся, там все равно лишь тина и лягушки».

Это пространство иронии и игры в античность – вот герой обнаруживает «устаревшую уже новость с северного театра военных действий»: «Оказывается, германцы три наших легиона полностью вырезали. Барбия, уверен, это заботило не больше, чем пожар Трои. Но он, уже немного зная меня, изобразил нечто вроде вежливой заинтересованности.

– Под чьим командованием?

– Какая разница?! Ну, Квинтилий Вар ими командовал. Будто это тебе о чем-то говорит».

Это игра в поддавки – Публий Квинтилий Вар зарезался, чтобы не попасть в плен в девятом году – через год после ссылки Овидия.

Так же в романе, будто в театре, пробегают мимо задника известные персонажи – фью-ить! – и нет его: «Вскорости Зенон статую закончил. По этому случаю папаша Клодий соизволил приехать из Города. Цветов в дом нанесли, яств настряпали, одних благовоний столько извели, что потом отхожие места месяц чистым сандалом воняли! Терцилла, правда, к гостям не спустилась – притворилась больной. А Фурий очень даже вышел – волосы завитые, щеки нарумяненные, одежды тончайшие. Ходит, на кифаре бренчит. А гости вокруг статуи стоят, прихлебатели да параситы, и только знай нахваливают: „Гениально!“, „Опупительно!“, „Калокатайно!“.

Овидию из этого пространства деться некуда – даже вернувшись в Рим, он отброшен на восток, катится, будто генерал Хлудов к Константинополю, но попадает в знакомые места. Нет вестового, нет черного смертного мешка. Овидия укрывает если не шуба сибирских степей, как клячил другой великий поэт, а легкий плащ степи, дурман травы на границах империи.

В известной пьесе Бродского «Мрамор» два героя, Публий и Туллий, меланхолично беседуют о сущем. Один из них бормочет: «С детства Назона любил. Знаешь, как „Метаморфозы“ кончаются?»

Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба
не уничтожит, ни медь, ни огонь, ни алчная старость.
Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Рима,
будут народы читать, и на вечные веки во славе
(ежели только певцов предчувствиям верить) – пребуду.

Публий. Да положить я хотел на «Метаморфозы»!..

Туллий (продолжая). Обрати внимание на оговорку эту: про предчувствия. Да еще – певцов. Вишь, понесло его вроде: «...и на вечные веки во славе...» Так нет: останавливается, рубит, так сказать, сук, сидючи на коем, распелся: «ежели только певцов предчувствиям верить» – и только потом: «пребуду». Завидная все-таки трезвость» – так эта пьеса еще раз говорит о том, как долговечность поэта связана с долговечностью империи.

Оттого исторический опыт скрежещет в нашей голове, мешает мелодраме, заглушает политическую корректность сюжета.

Все это интересно москвитам в силу понятной имперской переклички. Всякий народ Старого Света понимает, что жизнь опровергла старца Филофея – к худу или к добру.

А тогда, по январскому хрусткому снегу 1510 года едут во Псков московские дьяки. Вечевому колоколу отбивают топорами уши – потому что не быть во Пскове вечу, не быть и колоколу. Полвека уже застраивается по новой Константинополь, и постепенно, как тускнеет старое серебро, теряет свое имя.

И вот, сидя во Пскове, в холодном мраке кельи Спасо-Елизаровского монастыря, пишет старец Филофей письма Василию III.

Бормочет старец Филофей, голос его в этих письмах негромок, потому что он говорит с царем. Но с каждым годом слова его звучат все громче: «Церковь Древнего Рима пала вследствие принятия аполлинариевой ереси. Двери Церкви Второго Рима – Константинополя рассекли агаряне. Сия же Соборная и Апостольская Церковь Нового Рима – державного твоего Царства, своею христианскою верою, во всех концах вселенной, во всей поднебесной, паче солнца светится. И да знает твоя держава, благочестивый Царь, что все царства православной христианской веры сошлись в одном твоём Царстве, един ты во всей поднебесной христианский Царь».

Филофей родился тогда, когда судьба Второго Рима решилась – и уходил тогда, когда Третий Рим еще не воссиял среди снегов, санного скрипа и спелой ржи в полуденный зной.

«Блюди и внемли, – благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твое единое, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Уже твое христианское царство иным не останется».

Эту фразу, как заклиние, повторяют потом пятьсот лет, и вот наконец она теряет свою правду.

Бысти Четвертому Риму. Вот он простирается прямо за женщиной с факелом, что стоит на крохотном острове в конце океана. Вот он – во множестве лиц, вот он – с оккупационными легионами по всему миру, огромная большая империя.

И мы, как варвары, сидим в болотах и лесах, в горах и долинах по краю этого мира. Иногда варвары заманивают римлян на Католаунские поля и начинается потеха – и тогда не сразу ясно, кто победил. Чаше, правда, легионы огнем и мечом устанавливают порядок. И тут происходит самое интересное: обучение истории. Мы знаем, что все империи смертны. Также понятно, часто гомеостаз мира сопротивляется полному контролю – что-то ломается в контролирующей машине, и вот она катится колесами по Аппиевой дороге, и остается списывать неудачу на свинцовые трубы и Ромула Августа.

Мы, шурша страницами умирающих книг, пытаемся сравнить себя то с обьевшимися мухоморов берсерками, то с теми римлянами, что пережили свой Рим, и недоуменно разглядывают следы былого величия.

Первая роль оптимистичнее, вторая – реалистичнее.

Но, так или иначе, подобные конструкции альтернативной истории улучшают самооценку. Частные лица, упромыслившие подчиненных Квинтилия Вара в Тевтобургском лесу, оказываются при своем праве – не римском. Или бывшие римляне лелеют в себе гордое восхищение своим имперским языком. Все на месте, все при деле.

Сейчас мир начал скрипеть, как старинный корабль, меняющий курс, жизнь ведет к чему-то новому. Никого не удивляет, что троны наследуются в республиках – причем не только в Северной Корее. В Азербайджане и Чечне, да что там – Четвертым Римом уже правит сын бывшего президента. Где-то к власти приходят два близнеца.

Скрежет корпуса, потусторонние звуки заставляют нас насторожиться.

Третий мир – Третий Рим. Подстать Риму Четвертому и новый мир – с новыми правилами поэзии. Мы в нем – за границами империи, среди сарматов. Это и определяет наше восприятие образа Овидия. Не исторический холодный анализ в бесплодных попытках счислить реального поэта, а игра на краю пропасти. Будто взгляд варваров на римлянина, что заблудился в придунайской степи.

Они не то играют на его тунику, не то играют в него самого.

Владимир Березин

Переводчикам с латыни и древнегреческого посвящаю эту книгу

I

Поэт Назон гибнет от рук кочевников

Северная Фракия, Томы, 12 г. н. э.

1

Оттепель, заморозки, оттепель, заморозки. Переменчивость погоды заставила поволноваться всех: и сарматов, и местных, и меня. Хотя причины у всех были разные.

Поначалу казалось, что зима выдалась теплая, что Истр не станет, а если и станет – лед будет тонок и коварен, сарматы не решатся испытывать его на прочность и в этом году обойдется без войны.

Но январские календы показали такую лютую стужу, что море заискрилось твердью до самого горизонта. Наш полноводный Истр, в теплое время года надежно ограждавший эти дикие, сырые земли от голодной алчности еще более диких земель, превратился в звонкий мост, способный выдержать и варваров, и их лошадей.

Царские вояки пригорюнились. Вооруженные по римскому образцу, они, по мысли фракийского царя Котиса, имели шансы не только выстоять против сарматов, но и победить. И действительно имели бы – будь они римлянами.

Бывший гладиатор Барбий не постеснялся произнести эту мысль вслух:

– Нет, вы только посмотрите на них! Да у них сигнальщики не знают, с какой стороны в трубу дунуть! Сброд свинопасов!

– Удивительно, что Котис вообще кого-то прислал, – заметил я.

– Даже на моей памяти такое впервые, – кивнул Маркисс, ссыльный-старожил.

– Ничего удивительного, – сказал Барбий. – Царь Котис просто боится! Боится увидеть здесь настоящие римские когорты. А ведь еще в том году поговаривали, что эти, новые, сарматы пришли от самого Танаиса и намерены идти до тех пор, пока «не наедятся хлеба вволю». А где взять «хлеба вволю»? Здесь, во Фракии?! Не смешите меня! Сарматы перейдут реку, ограбят рыбаков, разорят свинопасов и двинутся дальше, на юг! А на юге у нас что?

– На юге все, – вздохнул я. – Греция... Море, теплое...

– Гречанки обыкновенно дурны с лица. Но доступны в любви, – встрепенулся Маркисс.

– При чем здесь теплое море?! Гречанки?! Главное – там владения римского народа! Если Котис позволит сарматам пройти через его земли и разорить Македонию, Цезарь обидится и получит повод двинуть сюда легионы. И не будет царя Котиса! Будут наместник, цирк с ипподромом, термы, статуи императора под каждой березой и прочий SPQR.

– А я бы не возражал. – Маркисс вздохнул.

Я бы тоже не возражал – года два назад. Куда веселее жилось бы мне в Томах, если бы нас, настоящих римлян, было здесь больше, чем трое.

Но теперь я не собирался ждать, пока события последуют за прогнозами Барбия. Ведь даже если его прогнозы сбудутся, это не приблизит ко мне ни жены, ни моего заклятого врага.

В одном Барбий оказался прав: царь Котис отважился отдать две своих лучших когорты сарматам на растерзание.

На следующее утро закутанные в шерстяные плащи фракийские воины покинули Томы и направились в Макуну по единственной северной дороге.

Макуна – большое рыбацкое поселение на нашем берегу Истра. Каждую зиму его грабили и разоряли то пешехожие западные геты, то конеборные сарматы. Летом Макуну пытались обирать «камышовые коты» – разноязыкие шайки речных разбойников. Но этих рыбаки обычно били, а вот против воинственных сарматов средств у них не было.

Крошечная крепостца Макуны – не крепостца даже, а одинокая башня на холме, обнесенная валом и частоколом, – могла вместить от силы сотню защитников. Поэтому с наступлением зимы большая часть жителей переселялась к родственникам в Тома, чтобы не пасть жертвой сарматских жестоких ребячеств. Меньшинство (представленное самыми крепкими юношами и мужчинами) оставалось сторожить дома, готовое по первому сигналу опасности унести главные свои драгоценности – рыболовные снасти и лодки – под защиту частокола и самим укрыться там же.

Перед уходом они обязательно оставляли в своих домах и землянках откуп. Пригоршня монет на видном месте, хлеб, сыр... И, конечно, вязанки вяленой рыбы! Горшочки с соленой икрой! Бусы! Расписные глиняные лошадки для сарматских зверенышей обоего полу!

По молчаливому стовору с рыбаками, сарматы забирали все эти «брошенные в спешке вещи» и, уж конечно, что-нибудь сверх того. Но некое подобие благородства им было не чуждо: рыбацкую халупу они сжигали только в случае исключительной скарденности ее хозяев, а на людей, укрывшихся в крепостце, и вовсе не покушались.

В Макуне сарматы стояли ночь-две. Затем, в зависимости от ветров и своего сумасбродного нрава, либо шли в глубь страны, где вели себя по-настоящему буйно, либо поворачивали назад, за Истр.

Что случится теперь, когда тысяча фракийских, с позволения сказать, легионеров вмешается в любовные отношения между рыбаками и сарматами, было страшно вообразить. А ведь мне предстояло узреть это воочию.

Вскоре после того как знамена фракийцев исчезли за ближайшим холмом, вышел на дорогу и я – в сопровождении наемного носильщика.

2

В полдень нас почти одновременно нагнали две толпы моих поклонников. Вот какой популярностью я пользовался в Томах, кто бы мог подумать!

Первая толпа была не очень представительной и состояла из одного Барбий – как уже говорилось, бывшего гладиатора. Он ехал верхом на копытном существе, которое только из большого уважения к наезднику можно было назвать лошадью, ибо норовом и статью воплощало оно помесь лошака, онагра и азиатской гиены. Звалось существо Золотцем.

– Ты с ума сошел! Куда тебя понесло, друг Назон?! – завопил Барбий.

– Я шествую в Макуну, друг. Если же тебе интересно, как именно я шествую, я отвечу: как Гектор на бой с Ахиллом.

– В своей жизни я знал двух Ахиллов. Одного на капуанской арене проткнули трезубцем. Другого я задушил собственными руками. Жуткий мерзавец был. Все игральные кости у него были со свинцом и сам такой, знаешь, как... как говно.

– Великолепно. Ну?

– Что «ну»?.. А, ты меня своим Ахиллом закрутил! Я говорю: совсем ума нет у тебя, да?! Зачем тебе в деревню?

– Иду биться в сарматами.

Пока Барбий собирался с мыслями, чтобы спросить: «А зачем тебе биться с сарматами?», показалась вторая толпа поклонников.

Эта была куда внушительнее первой: Кинеф, главный городской сикофант, уполномоченный городскими архонтами опекать ссыльного Назона, и с ним четверо городских стражников. Лошади у них были, конечно, получше Золотца.

– Что это мы задумали, уважаемый? – поинтересовался Кинеф в свойственной ему манере все затуманивать, размывать, присваивать себе часть собеседника, превращая его обособленное «я» в фальшиво интимное «мы». Допускаю, впрочем, что это шло не от подлости Кинефа (как я привык думать), а от изъянов его греческого.

– Я, лично я, задумал дойти до Макуны. Этот человек, – я указал на носильщика, – нанят мною, чтобы дотащить мое воинское снаряжение. Ну а Барбий здесь с тем же, с чем и ты: с вопросами.

Кинеф подозрительно прищурился.

– В Макуну?

– Определенно.

– И мы не боимся сарматов?

– Я римлянин.

– О да, да. SPQR! – иронично скривившись, Кинеф вскинул руку в воинском приветствии.

– Если ты хочешь меня оскорбить – ты можешь, – заметил я. – Но, сочетая эти непонятные для тебя буквы с приветственным жестом легионера, ты оскорбляешь не меня, а Рим. А значит – и Цезаря! Последствия могут быть самыми тяжелыми.

Кинеф – сам состоящий будто из киселя, расплывчатый и неопределенный – больше всего на свете боялся неопределенных угроз.

– Мы никого не хотим обидеть, уважаемый, – заверил он. – Но это очень необычная затея для мирного ссыльного: отпраляться сейчас на Истр. Наш владыка Котис намерен дать сарматам хороший урок. Там будет жарко! И посторонним...

Я, не смущаясь, перебил сикофанта:

– Мне известно о грядущей схватке. И я намерен не только принять посильное участие в подвигах царских когорт, но также запечатлеть их в приличествующих случаю стихах.

– Так вот оно в чем дело! – Лицо Барбия, который до этого буравил Кинефа грозным своим взором, внезапно просветлело. – Поэт Назон ищет вдохновения! А я думал, ты повредился в рассудке. Впрочем... я и сейчас так думаю. Ну хоть ясно стало что к чему. Но тебя же там убьют!

– Может быть. Но во сто крат лучше сарматская стрела, чем сластолюбивое нытье Маркисса. – («...И твои гладиаторские байки», – фразу я достроил про себя.)

Меж тем сикофант, мысленно взвесив все «за» и «против», принял вполне мудрое решение.

В круг его обязанностей, в числе прочего, входил надзор за мной и Маркиссом – таким же ссыльным, как я. К моим желаниям Кинеф не испытывал ни малейшего уважения, будь я хоть трижды поэт и четырежды римлянин. Во власти сикофанта было вернуть меня обратно в Томы – и что бы я мог ему противопоставить? Сразился с ним и стражниками сам-пять? Смехотворно!

Но что вменялось Кинефу в отношении нас? Лишь одно: следить, чтобы мы не удрали на юг, к теплым морям, и не смягчили себе тем самым условия ссылки, что было бы неслыханным подрывом авторитета двух владык, Цезаря и Котиса. Но куда мог убежать несчастный поэт, бредущий среди зимы напрямиком на север, в дичь и глушь? Там его ждет смерть, но никак не теплые моря!

– Ну, хозяин – барин, – сказал Кинеф. – Чтобы оградить поэта Назона от превратностей пути, оставляю двух своих людей, они проводят его до Макуны. А мы, Барбий, как?

– Делать нечего, пойду с поэтом.

– Тоже драться с сарматами будем?
– Я ни с кем драться не собираюсь, у меня обет не проливать человеческой крови. Никак забыл? Просто мне без поэта тошно. Похожу у него в оруженосцах.
Оруженосцем я уже располагал, но был тронут. Искренне тронут.

3

На закате нам встретила толпа беженцев из Макуны.

У стражников, которые теперь сопровождали нас по приказанию Кинефа, в толпе нашлись знакомые. Они остановились и принялись болтать, проявляя бессмысленное многословие, особенно часто одолевающее в пору невзгод простых людей, которым, если по совести, и сказать-то друг другу нечего.

Разговор ходил кругами: сарматы, что-то теперь будет, передай привет такому-то, все еще может обойтись, царские соколы в обиду не дадут, уж они им всыпят, а может, лучше и не появлялись бы вовсе, оно бы, глядишь, и обошлось, раз собаки были, так теперь не обойдется, потому что сарматы, но привет обязательно не забудь.

Я предложил стражникам возвращаться в Томи вместе с беженцами. Было видно, что идея им по душе, но послушаться Кинефа они не посмели. Нет, сказали они, мы с вами, будем вас беречь как зеницу ока, сейчас вот только с друзьями попрощаемся – и идем дальше.

Как же, идем дальше. Если бы не ваше, дети природы, чириканье, мы бы, прибавив шаг, поспели вместе с последними отсветами заката на ночлег среди руин, которые именовались помпезно – Гекатополис.

Местные отчего-то пребывали в уверенности, что Гекатополис построили аргонавты, что над городишком тяготело проклятие и во времена Александра Великого его поразило моровое поветрие, которое выкосило всех жителей, после чего там уже никто не захотел селиться.

Я полагаю все это милой чушью. Едва ли руины имели столь благородное происхождение, но одним неоспоримым достоинством они все-таки обладали: пустующий дом привратника был починен, заново перекрыт и превращен в приют. Там можно было вполне сносно выпастись. А если бы выяснилось, что в Гекатополисе ночуют царские когорты и дом привратника занят их командирами, мы бы напросились в одну из солдатских палаток.

Меж тем мы топтались посреди дороги в обществе рыбаков и их домочадцев. Стемнело, и над холмами зазвенел обманчиво жалобный волчий вой. Главное же, все мы, люди разностепенной набожности, но равно суеверные, не хотели испытывать вызывающим перемещением и стуком копыт терпение здешних духов ночи, о которых, как заведено, истории ходили наизуточайшие.

И что же? Не видать мне Гекатополиса! Мы заночевали вместе с беженцами из Макуны прямо у дороги. Жгли жалкий костерок, едва не замерзли насмерть. Заснуть не удалось.

Так прощалась со мной суровая снежная дева – Фракия.

4

Наутро я забрался в седло Золотца, Барбий повел лошадь под уздцы. Из-за всех перипетий мы основательно отстали от царских когорт. Но вот около полудня, на гребне холма, который закрывал обзор именно в том направлении, в котором мы двигались, показались люди.

Они бежали.

Их было... пять... десять... пятьдесят!.. сто!..

Людские волны устремились к нам вниз по склону. Стало видно, что многие солдаты оставляют за собой цепочки кровавых следов.

Мало кто сохранил оружие. Все щиты были брошены. Копья – тоже. Самые бессовестные срывали с себя на бегу и мечевые перевязи. Надеялись, надо думать, на великодушные врагов.

Час пробил.

Когда говоришь «я был доведен до отчаяния», подобные слова обычно оставляют слушателя равнодушным. То ли дело «я был влюблен и искал встречи с предметом вожделения» или «я дрался за республику».

Влюбленный вызывает сочувствие, воин с идеалами – по меньшей мере уважение. Отчаявшийся жалок, над ним погасли звезды, его сторонятся, как чумного. И даже если из отчаяния затем вырастает яростная решимость действовать, похвальное слово достается не священному пламени, в котором сгорели вера и упование, но лишь его свету. Прижатый германцами к лагерному валу центурион не спешит спасаться бегством, но, напротив, прорубает себе дорогу сквозь вражий строй к вождю из врожденной отваги – так отзовутся о нем в панегирике. На самом деле отвага ведет его до и после, но в ту минуту, когда младшие дрогнули, а малодушные бегут, центурион, внутри себя, уже принял смерть от железа и надежда оставила его. Он бросает на землю отягощенный дротиками щит. Ему, мертвому, все равно. Наступает миг истинного отчаяния, беспримесного одиночества.

Для меня этот миг растянулся на три года, но закончился задолго до того дня, когда я покинул Тома ради войны с сарматами.

Потому, будучи некогда доведен до отчаяния, я пережил и превзошел его. Испугать меня теперь было непросто. Я действовал, я рвался к цели, а мои спутники, ошеломленные внезапностью, наперебой орали мне: «Скорее, бежим отсюда!»

– Доставай кольчугу, живо! – приказал я носильщику, соскочив с Золотца, к седлу которого был приторочен выюк с моими пожитками и, что самое важное, сбережениями. Деньги я сразу же перепрятал за пазуху.

– Какую кольчугу?! – Барбия трясло. – Сейчас вдвоем на лошадь – и деру!

Сказав так, он принялся с невероятной быстротой расседлывать Золотца. При этом, разумеется, на земле оказался и мой выюк.

Носильщик и не думал помогать мне. Он бросился к тому воину городской стражи, лошадь которого была пошире, и завопил:

– Басид, возьми меня к себе в седло!

– Будешь должен, – хмуро бросил воин, сдвигаясь к холке своего мерина. Фракийцам такие переделки были не в новинку и они исхитрились скакать вдвоем на одной лошади, не расседлывая ее. Тому способствовало устройство седла – длинного и гладкого. У Барбия же седло было, так сказать, одноместным.

Замерзшие пальцы плохо меня слушались. Чтобы извлечь кольчугу, пришлось распороть ткань выюка мечом. Тяжелую, неподатливую рубаху из ледяного железа, похожую временно на рыбью чешую и на сброшенную змеей кожу, было не так-то просто надеть без посторонней помощи, но недаром я всю осень провел в упражнениях.

– Ты что, не понял?! Пора делать ноги! – надрывался Барбий, восседая на Золотце. – Свинопасы бегут от сарматов! Ну очнись же, Назон! Кто тебя околдовал?!

– Думаю, пора прощаться, – сказал я. – Благодарю тебя, мой друг, за все, чему ты меня научил. Не поминай лихом, и да сопутствуют тебе добрые знамения.

– Опомнись, Назон! – Барбий почти рычал. – Если бы я знал, как все будет, ты бы у меня за городские ворота носа не высунул! Ну зачем, зачем я, дубина, вчера поверил, что эти сопляки успеют достичь Макуны и там укрепиться?! Я-то думал, мы с тобой дойдем до деревни, посидим там вместе с царскими солдатами, сарматы не отважатся идти на приступ и поскачут дальше! А там, глядишь, твое помрачение отступит и мы спокойно вернемся в Тома!

– Вот сейчас и вернешься в свои Тома. Только, пожалуйста, не медли. Поверь, я свою судьбу тщательно обдумал и буду счастлив принять ее во славу римского оружия.

Самые резвые беглецы были шагах в десяти от нас, когда показались наконец и сарматы. Всадники, перевалившие через холм, шли шагом, опасаясь ям и валунов. Зато второй отряд, державшийся дороги, несясь прямо на нас во весь опор.

Надо признать, они были великолепны. Похоже, и впрямь к нашим старым знакомым, присутствие которых за Истром здесь всегда воспринималось как данность, присоединилось родственное племя, прибывшее издалека и принесшее с собой невесть где перенятые парфянские обычаи войны.

Остроконечные шлемы, длинные, до колен, чешуйчатые панцири, внушительные пики, на которые можно было нанизать одним ударом двух, а то и трех человек. Не люди, а самодвижущиеся железные башни! Их выносливые лошади тоже были облачены в броню, и, честное слово, я не знаю, какая сила в мире могла бы их остановить, кроме лучших легионов Цезаря.

За катафрактами шли конные лучники, защищенные не железом, а кожей. Они появились одновременно, на холмах слева и справа от дороги. Засвистели стрелы – скорчились на земле трое раненых фракийцев. Еще трое...

Участвовать в рукопашной я не собирался, поэтому за свой меч был спокоен. Качество кольчуги смущало меня куда больше. О том, что нечаянная стрела может угодить мне в глаз, я старался не думать.

– Последний раз тебе говорю: бросай все! У любой глупости должны быть пределы!

– Прощай, Барбий.

Я быстро зашагал вперед. Один из бегущих, крупный фракиец, чей пояс-цингулум выдавал в нем центуриона, а возможно, даже префекта когорты, едва не налетел на острие моего меча. Он отшатнулся от меня, как от призрака, но дальше не побежал, замер как вкопанный и прохрипел:

– Римлянин? Здесь?

– Да, – ответил я, не останавливаясь.

Дорога гудела. Ей вторил гул сарматского знамени – шелкового дракона, который извивался под напором воздуха. Издалека он смахивал на жирную, насосавшуюся крови пиявку.

До катафрактов оставалось две сотни шагов.

Сделав еще шагов двадцать, я внезапно обнаружил себя в окружении толпы фракийцев. Они, только что представлявшиеся мне рассеянными по всему видимому пространству, вдруг оказались рядом со своим префектом – тем, который был препоясан цингулумом. А поскольку префект зачем-то увязался за мной, выходило, что я, сам того не желая, возглавил сотню внезапно отважившихся воинов, замещая знаменосца или, точнее, сам служа ходячим знаменем.

Вот уж к чему я не стремился!

Мое спокойствие перед лицом неотвратимой смерти было столь неуместно, что фракийцы, похоже, заподозрили во мне неведомое, но могущественное римское божество, посланное в подмогу не иначе как самим Цезарем и прибывшее в самый отчаянный момент. Божество, намеренное одним своим видом обратить в бегство сарматские орды.

Это предположение звучит дико, но как иначе объяснить внезапную перемену их настроений? Ведь большинство успело растерять оружие, на что же они надеялись?! Опрокинуть под моим водительством катафрактов голыми руками?

И я вдруг подумал: а что, если это правда? Если весь смысл моего трехлетнего пребывания в Томах заключался в том, чтобы сегодня, сейчас возглавить отчаявшихся фракийцев? Если рядом со мной незримо присутствуют божественные братья Диоскуры? Ведь наши анналы хранят не одно заслуживающее доверия свидетельство: Кастор и Поллукс много раз появлялись на бранном поле и обращали в бегство самых опасных врагов! Мне стоит только призвать их гласно – и мы, ведомые богами, переломим варварскую силу!

Но челюсти мои были намертво сведены. Какой бы невероятной ни была победа над сарматами, одержанная под водительством Диоскуров, я вдруг представил себе ее последствия: так, будто у меня открылся дар ясновидения.

За нашими спинами разрастается облако непроницаемой мглы, подымается ураган, способный усадить на землю быка. Однако ревущий ветер щадит нас, он обрушивается на одних сарматов. Валятся лошади, под их весом трещат сломанные лодыжки и голени седоков. Те животные, которые удержались на ногах, сбрасывают всадников и в испуге бросаются прочь. Мы гоним сарматов до самой Макуны, воодушевленные фракийцы добивают раненых их же оружием. Горстка победителей в присутствии восторженных рыбаков провозглашает меня императором и Отцом Отечества. Дело принимает такой оборот, что я, вольно или невольно, оказываюсь во главе мятежа против царя Котиса.

Дальше я смутно, как будто сквозь пламя, видел картины совсем уже невероятные. Подымается Фракия, подымается Македония. Весть о чудесном римлянце, которому сопутствуют Диоскуры, приводит народы в волнение. Под знамена Публия Овидия Назона стекаются тысячи. Я веду их на запад... Я возвращаюсь из ссылки не инкогнито, нет. Я вступаю в Италию прославленным полководцем во главе гигантской армии Востока, воссоединяюсь с женой, приношу смерть сволочному Рабирию! И книги мои возвращают в публичные библиотеки не милостивым соизволением Цезаря, а по моему личному указу, потому что нет больше другой власти, кроме моей.

Самым поразительным было то, что все это не казалось бессмыслицей. Надо лишь призвать Диоскуров...

Что же меня удержало?

5

Поток катафрактов, ошеломленных происходящим, распался на два рукава, которые охватили нас и, схлестнувшись, замкнули ошетинившееся пиками кольцо.

Ровным счетом ничто не мешало им переколоть фракийцев с ходу, не теряя темпа. Но внезапное превращение трусов в смельчаков озадачило их.

Они с интересом рассматривали нас и перебрасывались одобрительными замечаниями. Которые, увы, не сулили ничего хорошего, потому что, как я мог понять, сарматы, воздавая должное нашему бесстрашию, обсуждали также кто сколько фракийцев нанижет на пику с одного удара. Самый рослый сармат вел речь, кажется, о пятерых.

К катафрактам также присоединилось большое число легковооруженных всадников с луками.

Эти, само собой, принялись похвалиться друг перед другом своей меткостью и ловкостью. Один обещал двумя стрелами выбить префекту фракийцев оба глаза быстрее, чем тот рухнет замертво после самой первой стрелы, которая вонзится ему в горло. Другой – выпустить стрелу в небо так, чтобы она, воспарив в высоту и устремившись затем вниз, попала в темя наперед загаданному человеку.

Фракийцы, настроения которых швыряло из стороны в сторону, как корабль в бурю, стремительно впали в отчаяние. Они заподозрили, что римлянин – вовсе не посланный богами спаситель, а просто случайный гость из числа ссыльных, которым я и являлся в действительности. Разве что мое появление к северу от Гекатополиса нельзя было назвать совершенно случайным, но это уточнение едва ли могло их обнадежить.

Призрачный свет чуда, который привиделся фракийцам в моей седине, потускнел и погас.

Теперь их ждала смерть.

В просвет между двумя катафрактами из числа окружавших нас – весьма узкий просвет, не шире локтя – непостижимым образом протиснулся всадник.

Его лохматое ездовое животное было с виду еще гнуснее, чем Золотце, а всадник и подавно не мог называться красавцем. Согбенный, одетый в волчью шкуру с наголовьем в виде оскаленной морды, вооруженный колдовским жезлом с крохотным человеческим черепом, он воплощал само Варварство.

Стоило ему появиться – и сразу же большая часть сарматов уважительно спешилась – они хорошо знали человека в волчьей шкуре. Те, которые остались в седлах, скорее всего являлись сарматами пришлыми, «новыми», и не до конца осознавали важность этого визита.

– Воины фракийцев заслужили смерть, – изрек колдун. – Их надо убить всех. Но убить их нельзя – они несут болезнь. Так сказали духи.

Колдун, разумеется, говорил на сарматском языке, поэтому я разбирал только отдельные слова. Смысл его речи был непрозрачен и я не могу поручиться, что все понял верно. Но каков бы смысл ни был, тем, пришлым, сарматам, которые и составляли подавляющее большинство катафрактов, он пришелся не по душе. Раздались презрительные выкрики: «Что значит – убить нельзя?!», «Сам ты болезнь!», «Где твой хозяин, раб?!»

Волкоглавый царственно проигнорировал оскорбления и продолжал:

– Их надо взять в плен, а потом получить от родственников выкуп. Но пленить их тоже нельзя. Они несут болезнь, их болезнь придет к нам. Мы погибнем.

Тут уж вообще поднялся несносный гвалт, который, однако, сразу же утих, поскольку среди спешившихся лучников появился очередной сармат. Уже не колдун, но вождь собственной персоной, о чем было легко судить по помпезной золотой пекторали на его груди и такой же – на лошади. Я знал – его зовут Скептух.

– Этот римлянин тоже умеет говорить с духами. – Волкоглавый указал пальцем на меня. – Вот его нужно убить. Это он сделал так, что сейчас нельзя убивать фракийцев. Он во всем виноват. Фракийцы показали вам, что они мужчины. Пусть идут домой и молятся за вас. С собой мы заберем только римлянина. Его смерть принесет нам самую большую пользу. И золото.

Вождь кивнул, подтверждая решение колдуна. После этого роптать никто не осмелился. Ряды сарматов расступились, выпуская фракийцев.

Никогда в жизни я не видел столько признательных и сочувственных одновременно взглядов, обращенных на меня – только по отдельности. Признательностью меня награждали слушатели за мои стихи, сочувствием – друзья, провожавшие в ссылку.

Волкоголовый колдун повалил меня на спину и зацепил мой широкий кожаный пояс железным крюком, который был приделан к прочной веревке. Затем он намотал веревку на седельную луку, хлестнул скакуна и потащил Назона по дороге – так охотники волокут домой крупную добычу.

Сарматы, поначалу с интересом глядевшие на мои мучения, вскоре пресытились и ускорили вперед, горлая: «Домой, братья! возвращаемся!» Тяжелый, ноздреватый снег залепил мне глаза, я ослеп.

II

Назона выгоняют из поэзии, и он учит сарматский

1

На дверях земляного дома, куда меня определил старший астином города Тома, человек с недержавным лицом огородника, рокочущее имя которого я за три года так и не сумел заучить, я повесил табличку: «Публий Овидий Назон. Ссылный поэт».

Угольные буквы, выведенные на сосновой доске, были первым, что написал я после отъезда из Города. А ведь когда я получил несусветное известие о том, что должен тотчас отправиться в изгнание, я хотел наложить на себя руки. Клялся, что вообще ничего никогда не напишу. Как же, не напишу...

Помню, как терся о мою жирную тогда еще спину северный ветер, когда я трудился над змеиным изгибом буквы «S», предпоследней буквы моей фамилии «Naso».

Мне было не по себе от мысли, что, возможно, в этом угрюмом захолустье с замогильным, квазитомным именем Тома («расчлененка» в переводе с греческого) ни одна живая душа не умеет читать на латыни. И я утешал себя предположением, что, вероятно, здесь многие читают по-гречески – раз половину населения городка составляют потомки выходцев из Аттики.

Я заблуждался насчет «многих». Читать здесь не привыкли – ни по-гречески, ни вообще. Здесь царил природа, а не культура. Разве кто-нибудь видел читающего суслика или медведя?

А вот на лингве латине один житель Томов все-таки читал и даже писал.

Его звали Маркисс. Он был лыс, быстр, тщедашен, по-детски смешлив и по-девичьи пуглив. Больше всего он походил на состарившегося римского щеголя (да и был им). Комедиантское имя Маркисс родилось как сокращение от его настоящего: Марк Сальвий Исаврик.

Маркисс, как и я, был ссылкой. Как и я, он попал во Фракию, угодив под тяжкий молот закона о прелюбодеянии. Однако на этом сходство между нами заканчивалось.

Если я, по официальной версии, не потрафил Цезарю, грозе римских прелюбодеев, своей «Наукой любви», научающей легкомысленной чувственности, то Маркисс провинился тем, что и без помощи книг обучился всем возможным легкомыслиям еще до того, как надел взрослое платье.

Дом Маркисса, отъявленного развратника, был не меньшей достопримечательностью курорта Байи, нежели сами целебные источники, а оргии, которые устраивал там Маркисс, впечатляли даже в скупых словесных описаниях.

«Представь, Назон, однажды купил я по дешевке раба-ливийца, который хвалился, что может услаждать разом восьмерых дев...»

«Я еще усов не брил, когда одна матрона положила на меня глаз и позвала погостить на своей вилле. А там обычай такой был – из этой виллы выхода тебе не будет, покуда всех женщин тамошних не полюбишь трижды. Женщин же там было – как зерен в гранате. Одних рабынь пятьдесят с чем-то. Так я когда своим домом жить начал, тоже правило такое завел. Только вместо женщин определил мужчин!»

«Вспомнил тут, друг мой Назон, как мы с сенатором одним проверяли, какова длина женского отверстия у львицы...»

И так далее.

Всю жизнь я считал себя человеком если и не распутным, то «ознакомленным». И хотя пылкий взгляд иной недоступной красавицы всегда оставался для меня более желанным трофеем, нежели красавицы бели, к порядочным людям я себя не относил. Лишь сойдясь с

Маркиссом, я понял: напрасно не относил. Никогда и не помышлял себе Назон того, что Маркисс и сопалатники играючи проделывали в тени смоков и под сенью тыкв. О том, что именно они проделывали, Маркисс кропал книгу воспоминаний «Сад».

Восьмая глава сей омнипедии называлась «Четверо отроков, ослица, отроковица и бродячей с двумя детородными органами». Девятая – «Те же и садовник».

В общем, когда затеянная Цезарем борьба с падением нравов достигла Байев, жители города, тайно посовещавшись, решили выдать правосудию Верховного Распутника. На роль которого был назначен Маркисс. И разве не поделом?

Скажу по совести, быть признанным первым распутником курорта Байи, куда золотая молодежь и гуляки постарше ездят именно за этим, все равно что быть выставленным из дома терпимости за неразборчивость.

Будучи наказанным Цезарем пожизненной ссылкой с лишением гражданских прав и конфискацией имущества, Маркисс, однако, не роптал и не раскаивался.

Первое вызывало уважение. Второе скорее удивляло. Ведь природа Северной Фракии, здешний климат и окрестности, мышасто-серые, скудные растительностью и видами, способны были склонить к раскаянию даже в не совершенных грехах.

Маркисс жалел лишь об одном – что в бытность свою прелюбодеем мало читал.

– Косноязычный стал, ужас! Теперь вот, когда писать сажусь, слов не хватает! Взялся считать, сколько раз написал я про мужской орган «эта штука», и за голову схватился! Получилось больше, чем мне от роду лет! – однажды пожаловался он.

– Хорошо еще, что не столько, сколько лет от основания Рима, – утешил его я. Некогда яростный хулиган всяческой графомании, в Томах я от души полюбил графоманов, поскольку понял: на них, как земля на слонах, стоит континент латинской литературы, где живем мы, гении.

Довольный Маркисс сложил губы сердечком и послал мне воздушный поцелуй:

– Я, Назон, когда табличку на твоей двери впервые увидел, сказал себе: «Тебя не пускают в столицу? Насрать! Столица сама приехала к тебе!»

– Прямо уж – столица... Я-то сам из Сульмона. Провинциал.

– Ну и скромник же ты, Назон! А ведь небось самого Цезаря знаешь! И жену его Ливию! Да и всех вообще...

В сущности, не зная я Цезаря и жену его Ливию, я никогда не оказался бы в Томах, в пропахшей плесенью хатке, на обтрепанном краю мира.

2

В год, когда я родился, Цезарь делал первые шаги к первенству среди равных.

Пока он расправлялся с врагами, я воевал с риторическими фигурами в школе ораторского искусства.

Когда Цезарь принялся делать из Города – Столицу Мира, я получил высокую должность триумвира по уголовным делам. Заботился о порядке в тюрьмах, наблюдал за ночной полицией (стеречь сторожей – тяжелый труд, доложу я вам), курировал пожарные казармы. Железной рукой выпрямлял я извивный жизненный путь площадных плутов, насильников и прочих напрасных людей, постигая ту же истину, которую двадцатью годами раньше понял и Цезарь: чем выше забираешься, тем больше находится низкого, с которым ты просто обязан иметь дело.

Как и Цезарь, я рано стал знаменит.

Первый цикл любовных элегий принес мне громкую славу в Риме. Второй – за его окрестностями. Третья книга подсадила к имени Назон семейство ко многому обязывающих квартирантов: эпитеты «изящный», «любезный Венере», «непревзойденный» и многая прочая.

А уж мою «Науку любви» читали все, включая просвещенных погонщиков мулов. Один вольноотпущенник, иудей, как-то признался мне, что латинской грамоте научился, исключительно дабы читать «Лекарство от любви», где я учил несчастливо влюбленных самому важному – *забывать*.

Кто мог знать, что пройдет десяток лет и «Науку» мою, книгу-шалунью, книгу-резвушку, книгу-утешительницу, изымут из всех столичных библиотек и нарекут похабной?

А ведь и самому целомудренному Цезарю некогда нравились мои наставленья. Царедворцы передавали: иные места он знал наизусть, а строки «пусть же из чистого рта не пахнет несвежестью тяжкой и из подмышек твоих стадный не дышит козел» использовал как свои, когда желал пристыдить неряху. Словом, все было хорошо, пока не случился в моей жизни Рабирий.

Мы с Рабрием молились одному богу – неистовому Вакху. Не в смысле что выпивали, а потом буянили (как наверняка подумал бы простец Барбий). Но в смысле «писали стихи».

Ведь не только застольям и виноделам Вакх покровительствует. Но и поэтам, что выжимают из железных дней веселящий нектар элегий.

Помню, мы познакомились с Рабрием в гостях у моего давнего друга Валерия Мессалы. Рабирий читал свои новые стихи, громоздкие и густо замешанные на крокодильно-могильной мифологии страны Египетской. Я, воротясь домой, записал в дневнике: «Рабирий. Умен невероятно. Но таланта не имеет. Зачем-то хочет дружить».

И да не примет читатель мое замечание насчет бесталанности Рабриуса за ревнивое пустословие!

Здесь другое. Можно сказать – плод беспристрастных наблюдений.

Моя бабка, происходящая из жреческого рода, рассказывала, что в дедовские времена у опытных жрецов было в ходу выражение «иметь зверя».

«Он имеет зверя» – так говорили про гадалелей, которые редко ошибаются, предсказывая судьбу и толкуя сновидения. Про врачей, которые мимоходом определяют истинную причину болезни. Про храмовых музыкантов, чьи флейты вызывают божественный ветер, вмиг сдувающий с лиц прихожан заприлавочное выражение и увлажняющий благоговением глаза.

Иные жрецы, говорила мне бабка, могли точно сказать, какой именно иноприродный зверь сопровождает музыканта или толкователя. У этого (кто бы мог подумать!) – лев, у того (как благородно!) – златорунный овен, а у того, ха-ха, морская свинка, ну скажите, какая милая...

Рассказы эти мне запомнились. Потому, когда я сам начал замечать призрачных, развоплощающихся под пристальным взглядом, зверей-спутников – правда, сопровождавших не гадалелей, но таких же, как я, поэтов, – я воспринял это без истерик.

Вскоре обнаружилось: то, что бок о бок с тобой ходит янтарно-дымчатый лев, вовсе не означает, что ты царь поэтов. А помойная крыса ничуть не указывает на то, что поэт не откровенный муз, но отбросов взыскует.

Связи между тем, каков по виду и величине зверь, и тем, сколь дар силен и редок, я обнаружить не сумел. Зато уверился в другом: нет зверя – нет таланта.

Случалось мне видеть, как молодой поэт, размазня и пустобрех, вдруг, после выстраданной и выделанной на совесть элегии или паломничества в легендарное святилище, обзаводился верткой лаской или кошечкой и начинал писать не хуже раннего меня.

Бывало, наблюдал и поучительное: как обладатель откормленного волкодава вдруг являлся на поэтический пир сам-один, порвав с любимой содержанкой ради выгодной женитьбы.

Смешное тоже видал я: иной хозяин хорька годами пытался уверить весь Рим, что владеет иберийским жеребцом сияющей серой масти.

Но, возвращаясь к Рабирию, скажу: зверя при нем никогда я не видел. А вот он моего угадал быстро.

Он горячо нахваливал и безжалостно критиковал. Несусветно много читал, всюду бывал зван и первым знал все важные новости. Богач и проныра, он умел быть полезен и легко давал в долг, говорил то учтиво, то язвительно.

Словом, мы сошлись – или, точнее, это он сошелся со мной. Всюду мы появлялись вместе, дуэтом клеймили кропателей, в унисон хвалили небезнадежных. Всегда заодно, мы глумились над веком, который потом назовут Золотым – и не только потому, что за все хорошее нам приходилось платить чистым золотом.

Про нас даже вирши слагали:

Кто это там, по телам графоманов, к Парнасу
Шествует важно, завистливым толкам на зло?
Это Овидий-похабник, а с ним злоязыкий Рабирий.
Эй, трепещите, ведь консульство их началось!

Мы дружили шесть долгих лет. И за эти годы лишь единожды произошла между нами размолвка. Мой бывший шуринок, заведующий канцелярией одного сенатора, которому Цезарь исключительно благоволил, тайно скопировал для меня письмо со стола патрона.

В письме этом Рабирий в свойственных ему едких выражениях бесчестил мою обожаемую жену Фабию. Поначалу я шурина не поверил. Но нет, почерк Рабирия, да и прочее, сходилось!

Я был настолько удручен этой мелкой низостью, вдобавок лишенной мотива, что не смог утаить свое открытие от друга. Учинил дознание.

Рабирий не запирался (он был умен и чуял: не поможет!). Напротив, подлец раскаивался. Да так бурно, что я едва осушил от слез его глаза.

Ногтями разрывая себе грудь, Рабирий объяснил, что писал о Фабии дурно, поддавшись низкому порыву, попросту – позавидовав мне, женатому на такой неописуемой красавице-и-умнице, и, что самое непереносимое, страстно любимому ею.

«Я же не был любим никем, кроме шлюх и своей матери», – рыдал он.

Меня тронула непритворная глубина его раскаяния. И его извинения я, конечно же, принял, вместе с приложенным к ним подарком – легкими носилками из драгоценного дерева и восьмеркой рослых рабов-носильщиков (плюс девятый, запасной).

Носилки я отдал Фабии, которая хоть о письме и не подозревала, но все одно оставалась вроде как пострадавшей стороной. Я счел ссору забытой и вновь начал звать Рабирия «сердечным другом».

Всесильные боги! На обиженных воду возят. А на доверчивых возят что? Я думаю, фекалии.

«Не позволяй себя тронуть слезам и рыданиям женским —
Это у них ремесло, плод упражнений для глаз».³

Это я написал, между прочим.

³ Перевод М.Л. Гаспарова.

3

Случай с письмом забылся. И если бы не предательство Рабирия, окончившееся изгнанием Назона из Города, я бы, клянусь, не вспомнил о нем. Ведь право на мелкую подлость украшает римского гражданина...

– Что ж, Назон, свершилось! – возвестил однажды Рабирий. Он ворвался в мою опочивальню с первыми петухами. Волосы его были взъерошены, лицо осунулось – наверняка скоротал ночь в бардаке.

– Что именно? – проворчал я, усаживаясь на кровати.

Мне стоило труда налепить на лицо хоть какое-нибудь выражение.

Меньше всего на свете я любил бодрствовать в эти недобрые пограничные часы, когда выцветает бархат ночных небес. Однако я не дал хода недовольству. Я знал, умевший быть деликатным Рабирий не станет надоедать без причины.

– Цезарь зовет нас в гости! На виллу «Секунда»!

– Кого это – «нас»?

– Тебя и меня. Он зовет лучших поэтов Рима! – озвучив эту вопиющую ахинею, Рабирий виновато подмигнул мне, мол: «Уж я-то знаю, что лучший поэт – это ты, а я просто выскочка и прилипла, но *они* так сказали!»

– Слушай... Сходи-ка, наверное, один. Солги, что Назон простудился, болен проказой, что угодно... Тошнит уже от застолий!

– Речь идет не о застолье, – понизив голос, сказал Рабирий. – Но о деле!

– Какие дела могут быть между Цезарем, таксть, живым богом, – я криво усмехнулся, – и смертным поэтом Назоном? Если можно, переходи сразу к существу... Спать хочется.

– Цезарь хочет, чтобы ты написал поэму. – Рабирий сел на край моей кровати, его голос благоговейно дрожал. – Понимаешь, поэму!

– Разве у Цезаря мало придворных писак? После того как Вергилий подал всем пример и вылизал задницу Цезаря до золотого блеска, желающих прильнуть к ней день ото дня становится только больше! Если завтра нужно будет популярно объяснить всем, что наш Октавиан ходит эликсиром, помогающим от всех болезней, поскольку этот дар ему пожаловал сам Асклепий, видя его радение о здоровье сената и народа Рима, десяток голодных провинциалов тотчас примутся взапуски строчить об этом обстоятельстве... Пройдет неделя – и готова первая поэма! И стихотворный цикл! И панегирик! И элегия! Две элегии! Три! Впрочем, что я тебе-то рассказываю, будто ты не в курсе...

– В курсе, – сухо кивнул Рабирий.

– Зачем тогда спрашиваешь? Ну не стану я воспевать Цезаря. Хотя бы потому, что не умею. И с его стороны предлагать мне это так же глупо, как заказывать столяру панцирь. То есть заказать-то можно. Но на бой я в панцире, сделанном столяром, не вышел бы. – Я так рассвирепел, что даже сон улетучился. – Кстати, лет двадцать назад я уже отметился в этом ремесле. Написал героическую поэму «Титаномахия», посвятил ее нашему Октавиану. Сравнивал его с Юпитером... С ума сбеситься!

– Мой пламенный Назон, Цезарь хочет от тебя совсем другую поэму, – сказал Рабирий елевым голосом.

– О нетрудной любви? – насколько можно язвительно поинтересовался я.

– Просто – о любви.

– Это даже интересно. Продолжай.

– Ты же сам недавно говорил, что... после знакомства с Фабией стал по-другому смотреть на все эти вещи... Что многое в «Науке любви» тебе теперь и самому не по душе... Ведь говорил?

– Говорил. И?

– Неужели тебе никогда не хотелось сделать что-то... не в опровержение «Науки», нет! Но как бы в развитие темы! Написать о чистом, о высоком... О любви к жене и домашнему очагу... О безгрешной сладости супружеского ложа.

– Хотелось.

– Вот и прекрасно! – Рабирий просиял, хлопнул себя ладонями по бедрам. – Вот о том же и Цезарь!

– ???

Я застыл в изумлении прямо над чашей для омовения лица. Рабирий же принял мой ступор за восторженную оторопь. И, перейдя с квазипатетического тона на деловой, продолжил:

– Итак, текст о святости семейных уз. Объем – на твое усмотрение. Но чтобы примеры были убедительные. С мифологией поосторожней, надоела она всем. Цезаря и Ливию упоминать не обязательно, но было бы кстати. За подробностями обращаться к секретарю Ливии Агерину, он ответит на любой вопрос по биографии. Сроки называешь ты. Цезарю лишь бы побыстрее, но я объяснил ему, что поэт – не сноповязальщик, у него вдохновение, метания, все дела. Он, кажется, понял. Когда мы закончим, Цезарь в долгу не останется. А уж о благодарности народа и говорить нечего. Имя твое воспоют как доселе не пели!

В какой-то момент мне показалось, что Рабирий сошел с ума.

Или безыскусно со мной шутит.

Невозможно было поверить, что это он, язва и ерник, тайный республиканец и египтоман (после победы над Антонием-Клеопатрой все египетское было у нас, считай, под запретом), закоренелый педофил и пьяница, говорит мне все эти невообразимые вещи про римский народ, который воспоет своего подневольного моралиста Назона!

Не обьялся ли белены мой кудрявый Рабирий?

Быть может, на пирушках, по которым он шатается, вошло в обычай подавать пятнистые красноголовые грибы с пластинчатым исподом? Те самые, которыми, по свидетельству побывавших в Германии, обжираются матерые колдуны, когда хотят совершить путешествие на край ночи?

– Что ты имеешь в виду, говоря «когда *мы* закончим», милый друг? Что мы с тобой будем писать в соавторстве?

– Да отсохни мой язык, если я дерзну посягнуть на такое!

– Тогда что?

– Цезарь хочет, чтобы я... ну... как бы помогал тебе советом. Критиковал. Чтобы я был рядом!

– В качестве доки по сладостной чистоте супружеского ложа? – Я подмигнул Рабирию (тот был женат, однако с женой своей виделся всего дважды – словом, чисто деловые отношения). – Или в качестве надзирателя?

– В качестве друга, – тут Рабирий небесталанно изобразил уязвленную добродетель. – Ну так что... соглашаемся?

Я зачерпнул ладонями воды из чаши и принялся умываться. Затем, удостоверившись, что вода в кувшине достаточно теплая, стал молча мыть голову, одной рукой поливая себе на темя. За окном пропел петух.

– Назон, – расслышал я сквозь плеск воды. – Что скажешь, а, Назон?

Увы, ехать на виллу «Секунда» нам все равно пришлось. Владеющий лучшей половиной мира Цезарь не тот человек, от которого можно отделаться запиской «не желаем, отвали».

4

Уже по дороге я узнал, что быть приглашенным в «Секунду» – невероятная честь, которой удостаивались не все именитые сенаторы.

Сам Цезарь навещает туда частенько, но гостей не принимает. Зная склонность Цезаря к суевериям, я рискнул предположить, что тот боится прогневить гения места, позвав в гости кого-то «не того».

Нас поселили в просторных комнатах с видом на прекрасный сад. Клумбы в нем цвели душисто и пестро – не верилось, что на дворе поздняя осень. Будто в лето вернулись.

Я прошелся по саду, который был центром тяжести всей виллы. От него, словно лучи от солнца, нарисованного детской рукой, отходили еще четыре таких же флигеля, как наш – экседрами они глядели в кусты розового олеандра, что служили саду границей.

В котором из домов живет сам Цезарь, мы не знали. Но если судить по некоторым деталям (золотые ручки на калитках и ставнях), он жил в том, что располагался напротив нас.

Над дверью, ведущей в тот «золоченый» флигель, была прикреплена золотая пятиконечная звезда. Должно быть, еще одно суеверие Цезаря.

Главк, слуга, который помогал нам устроиться, и, к слову, единственный слуга, которого мы видели на всей «Секунде», сообщил нам следующее:

1. Во флигель с золотой звездой ходить нельзя. Под страхом смертной казни. И приближаться к нему менее чем на двадцать шагов, тоже нельзя. («Ага, угадали, там живет Сам», – подумал я.)

2. Цезарь сможет уделить нам лишь восемнадцать минут своего времени. (Я вздохнул с облегчением.) Однако мы вольны остаться на обед и даже переночевать в гостевых покоях «Секунды».

В воркотливом голосе Главка слышалось что-то жабье. Пункта третьего, к счастью, не последовало.

Цезарь задерживался. Как всегда, неотложные дела – интриги, высылки, проскрипции.

Чтобы нас развлечь, в комнату, где скучали мы с Рабирием, пригласили мима.

Мим изображал Человека-Какашку. Он гнулся и ломался, имитируя, как я понял, движение фекальных масс по кишечнику, от желудка – к свету в конце тоннеля. Окончив пантомиму, актер посмотрел на нас пристыженно: мол, не взыщите, сыграл что велели. Я давно заметил: у Цезаря нелады с чувством юмора.

Потом принесли обед. Простой и сытный, стилизованный под крестьянский. Будто готовили его не на императорской кухне, а в намалеванных рощах буколик-георгик.

Ни тебе сонь в меду, ни пятаков нерожденных поросят, ни даже тривиальной гусиной шейки с гарниром из лепестков африканских роз!

Каша, хлеб, баранина, моченые оливки – и все это в мисках из неглазурованной глины!

Впрочем, чего ждать от Цезаря, который любил похвалиться, что ходит в тоге, сотканной дома рукодельной женой? От человека, издавшего закон против роскоши? Это ведь он запретил тратить на пиршество больше 400 сестерциев! Вот приблизительно на 50 сестерциев мы с Рабирием и съели.

Я помрачнел: от жирной и тяжелой крестьянской пищи заныла избалованная печень.

«Вот же парадокс! От соловьиных язычков ничего никогда не болит!» – прошептал мне на ухо Рабирий. Судя по кислому выражению его лица, угощение ему не понравилось.

Мысль о законах против роскоши плавно перетекла в размышления о законах против прелюбодеяний.

Ну какая, скажите, муха укусила Цезаря бороться за нравственность римских граждан?!

Ведь это же тебя, Цезарь, тебя, тогда еще Гая Октавия, смазливового рослого красавчика с золотыми волосами, метелил промеж галльских войн блистательный Гай Юлий!

Ведь это ты пришел в политику через черный ход, благодаря своей постыдной связи с незабвенным римским тираном Гаем Юлием!

Не ты ли, Цезарь, женился на чужой жене Ливии, на шестом месяце брюхатой и притом не от тебя? Весь Рим потом ходил ходуном от хохота, повторяя «везучие рожают за три месяца», разумея Ливию твою...

А теперь? Кто главный ревнитель благочестия? Цезарь. Кто у нас образцовая жена? Ливия. Кто самая плохая девочка в Риме? Юлия, дочь Цезаря от первого брака! У нее, страшно молвить, был любовник! Ой-ой-ой! Какой ужас, какое падение! Сослать ее с глаз долой! А кто у нас еще хуже Юлии первой? Юлия вторая, внучка Цезаря! Представляете, она тоже не девственница! Сослать и ее тоже! Не то разложение! Сумерки богов!

Никогда не вызывал у меня такого отвращения Гай Юлий Цезарь, за здорово живешь присваивавший имущество поверженных врагов.

Иное дело – кроткий лицемер Цезарь Октавиан. После битвы при Перузии приказал заживо сжечь на алтаре своего отца триста человек. А глаза такие голубые! Во время проскрипций не пощадил ни своего опекуна Торания, ни покровителя Цицерона – а лицо такое возвышенное! Толкнул на самоубийство своего лучшего друга поэта Галла – а поэмки сладенькие о древности слагает, муси-пуси...

Как можно писать для этого чудовища поэму о высокой любви?

Уже стемнело, когда появился Цезарь.

Сообщил, что располагает лишь девятью минутами, а не восемнадцатью, как сообщалось ранее. И что готов выслушать план моей поэмы (он говорил так, словно согласие мое у него уже есть). Кстати вспомнил, что душка Вергилий ни строки не писал в «Энеиду», пока он, Цезарь, предварительный план не утвердит.

Я красноречиво посмотрел на Рабирию. Не изменившись в лице, тот сказал, кивнув в мою сторону, что Назон еще не принял окончательного решения. И что Назон колеблется, сомневаясь в своих силах.

– Да что мы говорим о нем, как будто его здесь нет! Пусть скажет сам! – повелел Цезарь своим скрипучим занудливым голосом.

Я принялся врать, что совершенно не разбираюсь в вопросе!

– Узок мой кругозор, велики моя боль и усталость, в общем, отказываюсь, – сказал я. – Однако мой отказ следует расценивать как признание моей слабости, а не как попытку утвердить силу! Ведь, даже будучи ничтожеством, я люблю Цезаря больше, чем своих близких! Люблю как человека и как бога, – для убедительности я припал на одно колено и поцеловал его руку – всю в перстнях и старческих бурых пятнах.

– То есть не будешь писать? – переспросил Цезарь ровным голосом раба-счетовода.

– Я недостойн такой чести, о божественный.

– Дело твое, – сказал Цезарь равнодушно и уже собрался уходить, однако у дверей обернулся и добавил: – Если останетесь на ночь, помните, что говорил Главк. Это для вашей же пользы!

Ехать домой было поздновато и мы с Рабрием, оба взвинченные, решили совершить прогулку вокруг виллы. Полюбоваться парной тушей спящего Рима, на дальней северо-восточной окраине которого «Секунда» располагалась.

Прогулка не задалась – мы с Рабрием поминутно ссорились.

Он упрекал меня в недалёковидности и отроческом, ослином упрямстве. Я его – в идиотском каком-то подхалимаже. Рабрий собачился все больше. Мне хотелось спать.

Наконец мы оказались у нашей двери. К счастью, было не заперто – видимо, жабогласый Главк уже отошел ко сну.

Мы прошли через неосвещенный вестибюль, пересекли сумрачный внутренний двор и, вдыхая по-осеннему тяжелый сырой воздух, поднимавшийся от имплювия, оказались в гостиной.

Там в наше отсутствие зачем-то передвинули мебель. В центре теперь стоял низкий столик с масляной лампой, а рядом со столиком – красивое деревянное кресло, похожее на старобразный царский трон.

В кресле сидел незнакомый старик. Ветхий и желтый, словно сделанное из дорогого пергамента чучело богомола-исполина.

Старик напоминал также седой пушистый одуванчик, которому каким-то чудом удалось пережить лето, осень и зиму, растеряв почти всех своих летучих отпрысков, но все-таки – не всех.

Старик читал. Когда мы ввалились в гостиную, споря о том, нужна ли материально обеспеченным поэтам милость царей, он отложил свиток и внимательно посмотрел на нас своими черными, живыми глазами.

– Кто... вы? – спросил старик. Его голос был как тихий скрежет ледника, потревоженного криком пролетевшего ворона.

– Мы поэты, – отвечал я.

Вопрос «А ты-то кем будешь? И что тут делаешь?» я старику задать не решился. Почтение к сединам, как-никак.

– Поэты? Поэты хорошо. Я... люблю поэтов! А ведь когда-то не любил... Считал пустыми... людьми... Сотрясателями воздуха!

– Да мы и есть, в сущности, пустые! – усмехнулся я. – Или очень быстро становимся пустыми. Если мы будем полны, то станем непрозрачными для божественного ветра. И примемся говорить не о том, о чем нужно, а о том, что у нас внутри. То есть о том, что делает нас полными. Внутри же у нас в точности то, что и у других людей. Похоть, сожаления и мечты о неважном.

Рядом со мной переминался с ноги на ногу Рабирий. Он злился – дожигал в уме недавнюю перебранку. За нашей беседой он не следил.

– А ты... неглупый малый. – Старик одобрительно кивнул, потирая свою лысину морщинистой, как у мартышки, и сухой, как у мумии, ладонью. – Хорошо объяснил! Поможешь мне?

– Охотно!

– Ты... ведь, верно, знаешь всех римских поэтов?

Я кивнул.

– Тогда послушай. Как-то в книжной лавке Париса... она тут, недалеко... мне случилось прочесть такие стихи:

Все уменьшается, мельчает каждый час:
Отцы, которых стыд и сравнивать с дедами,
Родили нас, еще негоднейших, а нас
Еще пустейшими помянет мир сынами...⁴

Как ни странно, старик продекламировал эти строки внятно и с чувством – так читают учителя риторики и преуспевающие политики. Я невольно заслушался.

Вот еще что – его голос, сухой, как шорох плевел под сандалией, странным образом гармонировал с прочитанными строками. Возраст же чтеца делал поэтическую жалобу еще более безупречно-верной и сообщал ей привкус вселенского, омнического какого-то пессимизма.

– Скажи мне, поэт, кто написал эти умные стихи? – спросил наконец старик.

⁴ Перевод А.А. Фета.

– Тит Гораций Флакк, – ответил я тотчас.

– В таком случае... скажите Гаю Октавию, чтобы немедленно доставил сюда этого... Горация! Желаю... посмотреть на него! – воскликнул старик, его глаза загорелись.

– Он умер в октябре. Его похоронили на Эсквилине.

– О боги! И этот тоже опередил меня... – Старик скорчил досадливую гримасу.

Сколько же лет ему – восемьдесят, девяносто или, может быть, все сто? Я как раз собрался спросить, когда Рабирий что было дури дернул меня за край шерстяного плаща. Я недовольно посмотрел на него – ну и манеры!

Порочное узкое лицо моего товарища было искажено гримасой ужаса.

«Что случилось?» – спросил я одними глазами.

Рабирий взглядом указал мне на стену комнаты, по правую руку от сидящего старика. На ней сияла тусклым замогильным светом, отраженным светом лампы, золотая пятиконечная звезда.

Такая же, только размером меньше, отсвечивала от сплошной боковины кресла, в котором восседал старик.

Только тогда я наконец сообразил: мы с Рабием зашли не в тот флигель.

Мы нарушили запрет Главка.

Мы не вняли предостережениям Цезаря.

Что теперь будет с нами?

– Куда же вы... поэты? – прошелестел нам в спину удивленный старик. – Клянусь, я ничего не скажу... этому негоднику... Гаю Октавию!

Я даже не попрощался с ним – сама речь мне отказала.

Мы с Рабием стали вдруг бесшумными, ловкими и отчаянными, как асасины.

Мы покинули проклятый флигель за считанные мгновения, ни разу не споткнувшись в крошечной темноте, ничего не опрокинув, не перепутав ни одной двери, не издав ни звука.

Это страх смерти сделал нас такими.

Промозглый осенний ветер действовал отрезвляюще. Мы успокоили дыхание и поклялись забыть о старике. А также пообещали друг другу никому не рассказывать о том, что натворили. Возвратившись, мы молча разошлись по своим комнатам. Сомневаюсь, что Рабирий смог заснуть в ту ночь, да и я не смог.

5

Вскоре Рабирий рассказал о нашем проступке Цезарю.

Расчет его был прост: Цезарь славился снисходительностью к доносчикам. В конце концов, именно Цезарь изобрел закон о доносах: донес раб на хозяина – получай, умница, долю в хозяйском наследстве! Что ж... Расчет Рабирия оправдался!

Я гостил у Валерия Мессалы, когда меня письмом вызвали к Цезарю на виллу «Прима». Я сразу понял: дело пахнет элевсином.

Но на Рабирия не подумал. Грешил на случайного прохожего, который мог видеть нас с Рабием, когда мы выходили от старика, на пронырливого раба-невидимку (а на таких виллах, как «Секунда», невидимок обычно поощряют), на жабу-Главка.

Назон застал Цезаря в апогее державного гнева. Отец Отечества глухо орал, обильно орошал приемную слюной и его лицо, красивое когда-то, красивое просто до невозможности, собиралось уродливыми складками на лбу и щеках.

Государыня Ливия, длинноногая, с маленькими глазками над восковыми яблоками щек, поддакивала мужу, сидя на низкой скамейке по правую руку от него – сходство с матерой дворовой сукой за то время, что я знал ее, к тому году лишь усилилось.

Цезарь говорил экивоками. Не называл явно нашего с Рабирием проступка. Но за каждым его обвинением сияли золотые звезды.

– Ты ослушался меня, Назон. Нарушил запрет. Теперь ты понесешь наказание! – гремел Цезарь. – В соответствии с законами Рима!

– Хотел бы я знать, о божественный, под какой закон попадает проступок человека, заблудившегося в чужом доме? – хмуро поинтересовался я.

– Под закон о прелюбодеянии.

– Помилосердствуй! Назон безгрешен, как капитолийский гусь!

– Подумать только! – Цезарь обернулся к Ливии, привычно ища ее поддержки. – И это говорит человек, растливший своей книгой великий Рим!

Ливия поощряюще кивнула мужу – мол, верной дорогой.

– Если речь идет о моей «Науке», то она, смею заметить, увидела свет десять лет назад! – попробовал защититься я.

– Десять лет – пустяки. С точки зрения справедливости.

Только дома, в приветственных объятиях Фабии, до меня дошел страшный смысл случившегося.

Итак, я отправляюсь в пожизненную ссылку к варварам, в город Томы (Северная Фракия).

И моя Фабия со мной не едет. Не едет. Не. Едет.

Потому что перпендикуляр.

А Рабирий?

Я послал ему записку, но раб-посыльный вернулся ни с чем – мол, двери не отпирают и дом словно вымер! Я послал еще одну – в тайное логовище возле садов Мецената, где Рабирий встречался с любовниками. Я все еще был уверен, что мой сообщник тоже понесет наказание. И боялся, что это наказание окажется более суровым, нежели мое.

Рано утром за мной пришли солдаты. Им велено было доставить меня и мои пожитки на корабль, отплывающий на Край Света.

По дороге в порт один из них шепотом признавался мне, что знает мое «Послание Сафо» наизусть и вообще без ума от лесбосской девы, а заодно – от меня. Не иначе как хотел подсластить мне пилюлю, а может, и правда знал. Кажется, я обнял его перед тем, как взойти на судно.

На моих щеках высыхали горячие слезы любимой.

6

С Рабирием я так и не свиделся, однако первое же письмо с родины все объяснило: меня предал он.

Рабирий не только не считал нужным скрывать это обстоятельство, но и бравировал им.

Это добавило ему популярности в Городе – теперь Рабирий был осиян зарницей тех незримых земель, где в черных небесах с синими жилами молний парят, расправив облые крылья, демоны зла.

Из Просто Рабирия, сочинителя невнятных египетских виршей, он превратился в Человека, Предавшего Овидия Назона.

К Рабирию льнули молодые подлецы, желающие сделать быструю карьеру. Ему наперебой отдавались перезрелые матроны – они обожают совокупляться со всякой падалью, ибо в запахе тлена им чудится нечто, представляющее имморальную природу-как-она-есть, с ее птенцами, пожирающими друг друга в гнездах, и с жеребцами, способными покрывать по две дюжины кобыл за день. Глупые женщины надеялись, что, коль скоро пахнувший склепом Рабирий аморален, он будет покрывать их не менее раза в неделю! Ха-ха.

Я часто думал о Рабирии. Представлял, как взгляну в его карие глаза и припомню уверения в вечной дружбе, которые давали мы, когда были счастливы вместе. «Есть только одна причина, по которой мне по-настоящему не хочется умирать. Там, на другом берегу, я боюсь разминуться с тобой, Назон», – так он говорил, обнимая меня хмельной рукой. Я часто вспоминал его поддельную нежность, в голову мне не шло ничего, кроме двух коротких слов: «Будь проклят».

Я повторял эти слова десятки раз и мне становилось легче.

Помню, как однажды за полночь я стоял на вершине самой рослой башни города Томи.

Внизу бесновалось февральское море. Гнилой, голый лесок на ближайшем холме бил земные поклоны под напором ветра. Чу! Завыли нестройно оголодавшие волки – совсем недавно они обжирались непохороненными трупами, что остались после набега сарматов, а теперь, вместе с сарматами, ушла и пища. Сама Мать-Луна, обычно печальнолицая и оленеглазая, глядела люто. Мир был напоен злой силой и походил на бойцового пса, которого, дабы сделать свирепей, месяц поили свежей человеческой кровью и, посаженного на цепь, травили бичом.

Мир буквально исходил ненавистью, как весенние поля исходят влажными токами жизни, ожидая поцелуя восставшей из мертвых Персефоны.

Эта ненависть восходила вверх, к небу, образуя плотные, почти осязаемые вихри.

Неожиданно для себя я поднял обе руки и ощутил, как на ладонях у меня, между заскоружеными моими пальцами, собирается вся эта ядовитая испарина мира, как она лентами обвивается вокруг башни, шавкой кружит у моих ног (обернутых по местному обычаю страховидными кусками медвежьих шкур). Причем эта колкая, созданная разрушать летучая тяжесть, вдруг почувствовал я, обладает собственной волей! И притом я даже могу разговаривать с ней, вполне!

– Прикас-с-сывай! – послышалось мне в шумливом завывании вихря.

– Лети к Рабирию. Покажи ему себя. Сделай ему больно, – произнес я вполголоса.

– И-с-с-сполню, гос-с-сподин! – вновь послышалось мне, тотчас колкое воздушное веретено отделилось от моей левой ладони и исчезло.

Мне стало зябко от страха. Но я смог успокоить себя самоуверением, что все это было лишь скверной шуткой, игрой воображения нервного полуночника.

Случалось, я вспоминал о старике на вилле с золотыми звездами.

Кем он приходился Цезарю? Почетным пленником? Узником? Отцом или, быть может, гостем? Отчего он называл Цезаря фамильярно Гаем Октавием и честил негодником?

Хотелось знать, ах, как хотелось это знать!

7

Со дня моего изгнания прошел год. И я понял, что одних проклятий в адрес Рабирия недостаточно.

Нет, в действенности своих проклятий я не сомневался. Сомневаться в них значило поставить под сомнение материальность чувств, укрощению и воспитанию которых в духе красоты и любви я посвятил свою болтливую лиру.

Однако по опыту я знал: жернова мстителя-Сатурна мелют слишком уж медленно.

Пока демоны возмездия расслышат меня в своих свинцовых безднах, пока поймут мою ненависть и мою кручину, пока удостоверятся в низости Рабирия, запишут в свои данники и примутся щекотать его душонку своими пальцами-паутинками, зудеть над его ухом слюдяными крыльями... Да ведь до того момента, пока обезумевший, одержимый духами Рабирий, побежит, не разбирая дороги, на утес, дабы броситься с него в море, не в силах более терпеть

сатурналий внутри своей головы, я, проданный им Назон, могу попросту не дожить! На фракийских-то харчах...

Исподволь мною овладела мечта: сквитаться с Рабирием не так, как сквитался бы поэт Назон, дитя мраморных лесов, где блуждают красавицы, баловень застолий, милый лжец и свистун.

Но так, как сделал бы Назон-воин, которым Публий Овидий, чьи окна выходили на самый пафосный столичный лупанар, а вовсе не на площадку для кулачных боев, так и не удосужился стать. Поскольку был занят множеством других куда более элегантных дел.

Убить Рабирию не словом проклятия, но сталью меча. Убить – и все.

Однако мечом-то я как раз и не владел.

Когда мои сверстники подражали знаменитым гладиаторам, я зачитывался греческими книгами. Они постигали азы фехтования в тридцати шагах от поляны, где я, под раскидистой смоквой, упражнялся в судебном красноречии, развешивая по ветвям неопровержимые аргументы. Потом я был любовником, служакой, параситом, отцом семейства, самым отъявленным клиентом римских ростовщиков, подающим надежды пиитом, зятем своего тестя, любовником любовницы своего тестя, отцом любовницы своего ростовщика... Но никогда я не был мужчиной – в том зверином смысле этого слова, который проступает за раздумчивым женским «настоящий мужчина»... Мужчиной, способным ударить.

Неужто пришла пора им стать?

Такую мысль невольно подал мне упражняющийся Барбий.

Собственно, экс-гладиатор Барбий, как и душка Маркисс, был римским гражданином.

Барбий отлично владел мечом, умел читать, писать и доить козу (к слову, коз у него было две, Андромаха и Елена).

Он был сдержан, благочестив, набожен до сентиментальности, приносил жертвы Марсу и Юпитеру, держал данный некоей богине обет (и, кажется, не один!). В остальное же время – огородничал и учил молодых дуроломов из городской стражи воинскому искусству. После трудов праведных любил «потолковать», причем в каждом рассказе страстно выискивал мораль. Словом, вел себя как персонаж, сошедший со страниц лубков про перворимлян, соратников Ромула и Рема. Для полноты картины ему не хватало только коровы-жены и выводка румяных чад.

Природа наделила моего гладиатора внешностью наипростецкой. Был он коренаст, густобров и мускулист. Барбий много жестикулировал, причем настолько патетично, что, казалось, говорит он не с горшечниками да кожевенниками, но втолковывает озабоченным патрициям Самое Важное перед лицом надвигающихся вражеских полчищ. Позже я сообразил, что вкус к размашистым, длинным жестам Барбию привили на гладиаторской арене, где первейшим требованием к убийству соперника была его наглядность.

Поначалу Барбия я сторонился по соображениям двоякого рода.

Во-первых, бывший гладиатор Барбий принадлежал, со всей очевидностью, к так называемым простым людям. Но я-то знал, что прилагательное «простой» может употребляться и в плохом, и в хорошем смысле. И не дай бог тебе нарваться на плохой!

Во-вторых, в отличие от нас с Маркиссом Барбий не был ссыльным. И это внушало мне сомнения в здравости его ума. Разве по своей воле нормальный человек променяет многоэтажный Рим на обветшалые Томи?

Первое время мы с Барбием обменивались приветствиями, преувеличенная теплота которых только и способна была натолкнуть постороннего на мысль о том, что мы земляки.

Все изменилось в один день. Как-то я брел к пристани мимо домика Барбия и увидел, как он тренируется. Деревянным мечом Барбий лупил по истукану, обвешенному вязанками хвороста, пружинисто перемещающаяся вокруг.

Глухо кряхтел Барбий, крошился хворост, было слышно размеренное дыхание гладиатора, мягко ступающего по крошеву, несмотря на медвежью комплекцию.

Я невольно засмотрелся – рисовалась в этом непритязательном, на первый взгляд, бою своя отчетливая драматургия. Казалось, бьется Барбий с невидимым, но опасным врагом, который лишь кажется непосвященному истуканом, а может быть, прячется за ним.

Сочетание хладнокровия и страстного желания уничтожить, отпечатавшееся на лице гладиатора, меня также подкупило. С первого взгляда верилось, что врагов в своей жизни Барбий сразил настолько много, что кровожадность начисто ушла из его характера, а ненависть переплавилась в нечто высокое и роковое.

Не ненависть водила теперь его рукой, но как будто осознание того, что противника убить необходимо. Или так: осознание того, что противник уже уничтожен, осужден где-то там, наверху, на совете богов, и осталось последнее – выпустить дух из обреченного смерти тела.

Такая позиция, проговоренная каждым движением Барбия, вызвала мою жгучую зависть. Я очень хотел научиться ненавидеть Рабирию так, как, мне казалось, может научить только бывший гладиатор.

Вскоре я уговорил его стать моим учителем – за скромную, даже по местным дремучим представлениям, плату. Я хотел овладеть искусством поединков.

После первого урока Барбия – мне было велено скакать боком вокруг столба, толкать истукана щитом и приседать с корзиной песка – я неделю не вставал.

Не было в моем теле ни одного сухожилия, ни одной самой тщедушной мышцы, которая бы не отзывалась болью в ответ на движение. Прислужника у меня не было, я почти ничего не ел и мало пил – чтобы оправляться как можно реже. Зато на второй урок к Барбию я явился уже не жирдяем, но толстячком.

Прошли месяцы, сало на моей спине переплавилось в мясо и я даже начал радоваться кинетическому безумию наших экзерсисов.

Ударным пунктом подготовительной программы Барбия был бег зигзагами. Пока я в кожаной набедренной повязке носился по его садику, с запаршивевшими яблонями и кургузыми абрикосами, то замирая, то проворно меняя направление, в зависимости от того, какие получал команды, он сидел на веранде своего глинобитного дома с одним косым окном и попиывал местную ячменную бражку.

После бега следовали тяжести – колоду вверх, колоду вниз, и так до упаду. Затем он выкручивал мне руки и ноги – клялся, что лучшей тренировки для суставов и сухожилий не придумаешь. Разминал мне спину и плечи кулаками (он называл это массажем, однако на ласковые касания и шипки, к которым я привык в столичных банях, все это походило как фракийская зима на итальянскую).

Лишь после длительного разогрева меня облачали в кожаные доспехи и допускали к истукану – вырезанному из дерева подобию галльского идола. Каждый раз идола полагалось обвешивать новыми вязанками хвороста.

Отношение к истукану у Барбия было благоговейным. Его полагалось приветствовать перед началом упражнений, его следовало благодарить после.

По мере того как пустел кувшин с бражкой, Барбий все более охотно комментировал мои ратные труды.

В основном его филиппики относились к моей технике: «Ну что ты ходишь со щитом на изготовку? Ты похож на торговца щитами, который предлагает свой товар на рынке! Щит к груди прибери, силы экономь, старый-то пень уже, не мальчик!»

Иногда его ремарки относились, так сказать, к философии боя: «Мой ланиста Пелоп говорил, что даже плохой боец может выиграть поединок на силе характера. Вот смотрю я на тебя, Назон, и думаю: сила характера у тебя точно есть, и притом немалая. Но ни одного поединка ты

на ней не выиграешь. Какая-то она у тебя не такая, не той кондиции. У тебя пока что шансов больше взглядом врага завалить, а не мечом».

Иногда его заносило совсем далеко: «Некоторые считают, что вершина благородства в том, чтобы иметь возможность надругаться над женщиной и не воспользоваться ею... Но я лично с этим не согласен. А ты? Слышь, Назон? А-а, ладно, не отвлекайся, не надо...»

Бывало, все это невыносимо наскучивало мне – и глупость наuczительных речений, и быстрый, полоумный ток крови в моих членах, и *все это* вообще. Тогда я клялся: больше не приду. Но я всегда нарушал клятву. Промаявшись с неделю затворником, я вновь направлял стопы к дому своего учителя, радостно напрягая слух: вот сейчас Андромаха узнает меня, бросит вдруг жевать и проблеет приветственно.

«Втянулся», – удовлетворенно комментировал Барбий.

8

Живя в Риме, никогда бы не подумал, что мне придется чему-либо учиться в пятьдесят с лишним лет. В таком возрасте пристало учить...

Однако изгнание поставило меня перед выбором: либо умереть от тоски и бездействия, либо преобразиться. Так вышло, что на деле я сделал выбор в пользу обоих вариантов – старый Назон умер и после смерти преобразился в нового.

Поначалу умирать Назону было боязно. Очень уж хотелось заслужить прощение Цезаря. Но как? Оказав государству ценную услугу. Варианты: раскрыть заговор, спасти в бою консула, расширить границы римских владений, заключить военный союз с далеким индийским царем, достичь Океана на востоке!

Ничего из перечисленного бедный Назон, предоставленный сам себе, сделать не мог. Только – воспеть чужие достижения и триумфы. Я и впрямь искренне радовался успехам нашего оружия и отзывался на них громовыми панегириками. Панегирики исправно достигали Цезаря и, судя по некоторым эпистолярным отзывам моих друзей, воспринимались им вполне благосклонно. Но и не более. Воспламенить его мраморное сердце, высечь слезу из хризопразовых глаз я не мог.

Кто мог бы, я знаю – Эсхил.

Среди всех старинных греков я всегда ставил Эсхила выше прочих (Гомер и александрийцы вне обсуждения). Настоящий эллин, удивительный поэт-воин. В Марафонской битве Эсхил сражался плечом к плечу с братом Кинегиром. Брат оказался в числе павших, Эсхил так и не простил персам его гибели.

Спустя десять лет он бился за брата и отечество на море у острова Саламин и на суше – при Платеях. Он не просто узрел воочию баснословные полчища Востока, с которыми царь царей Ксеркс пришел в Аттику, он был одним из тех, кто обратил их вспять. Эсхил видел черный дымный гриб над Афинами, видел «прибой, засеянный телами», а потом своими руками жег на саламинском песке обломки – все, что оставил после себя бежавший в панике флот персов.

В «Персах» у Эсхила азиатские корабли – «темногрудые», а греческие триеры идут «прекрасным строем». Персидский тысячник Дидак, «силе уступив копья», слетает с корабля «пушинкою». В «Главке Понтийском» не ветер сопутствует стреле, но стрела, распрощавшись с тетивой, увлекает за собой «ветры Аида». Если бы так написал человек, никогда на войне не бывавший, можно было бы назвать это пустой красотой. Но Эсхил стоял под градом персидских стрел, его холодили те самые ветры Аида... А «пернатые всадники» из числа знатных персов, которые «мечут разящий кизил»? Лишь в Томах удалось мне понять это место, узнав, что именно из кизилowych жердей изготавливались кавалерийские дротики.

Я часто примерял Эсхилев стих к себе. И каждый раз тяготился своим ничтожеством. Так, до встречи с дикими сарматами никогда не выдавши настоящего боя, я именовал корабельный строй «грозным» и «ровным», но никак не «прекрасным». И моя стрела, увы, рассекала воздух с тем же унылым «свистом», с каким она делает это как в действительности, так и в десятках заурядных сочинений...

Но – к Цезарю. Когда я понял, что мои поэтические отклики на славу легионов и их вождей не имеют волшебной силы, мной овладело новое сумасбродство.

Поэма «Истрия»! Описательное, натурфилософское сочинение о достоинствах и богатствах края! Ведь это только на первый взгляд здесь нет ни богатств, ни достоинств. А если присмотреться как следует, познакомиться поближе...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.